

Начало июня семьяется пятого запомнилось тем, что в Иркутск на зональный семинар молодых писателей приехали те, о ком говорила вся пишущая и читающая Россия. Словно осознав своё предназначение, город к приезду именитых гостей наконец-то освободился от зимней спячки, смыв со своих улиц накопившиеся за долгую зиму усталость и грязь, распрямил свои деревянные плечи. Во дворах, точно по спущенной откуда-то с неба команде, ослепительными белыми кружевами пыхнули запашистая черемуха и сибирская яблоня, что дало повод московской гостье — известному литературному критику Лидии Борисовне Лебединской — сказать, открывая совещание, о свадебном яблоневои наряде Иркутска. Она с болью в голосе говорила о недавно ушедшем из жизни сибирском самородке Василии Макаровиче Шукшине, о великом и нетленном подвиге сибирских дивизий под Москвой. И мгновенно зал стал как бы единым телом, ловя каждое слово Лидии Борисовны, затаив дыхание, иркутяне вслушивались в добрые и в общем-то справедливые слова о сибирском характере. А когда она процитировала строки Твардовского “Сибиряки! / Молва не врет, / Хоть с бору, с сосенки народ. / Хоть сборный он, зато / Отборный, / Орел — народ! / Как в свой черёд / Плечом надёжным подопрёт, — / Не подведёт!” — весь зал — полтыщи человек — встал и долго аплодировал Лебединской.

Всего-то три недели назад отмечалось 30-летие Победы, и по Иркутску мощной, тысячной колонной под песню “Этот день Победы!” прошли ещё крепкие солдаты Великой армии. И вот к нам в город приехали фронтовики: необыкновенно красивая, с пышной прической золотистых волос, стройная, в строгом чёрном костюме и белой кофточке Юлия Владимировна Друнина, Виктор Петрович Астафьев и Евгений Иванович Носов. Они рядом с нею смотрелись крепкими, кражистыми охранниками, мол, попробуйте только дотронуться. Да нам бы только посмотреть и послушать талантливую и отважную женщину! Мы знали: они из тех, кто принёс читающему народу “окопную правду”, они держались друг друга, доверяя и оберегая слово, которое было испытано и проверено войной. Ну, кто мог ещё вот так, в одном четверостишьи сказать о войне, как это сделала Юлия Друнина!

*Я столько раз видала рукопашный,  
Раз — наяву, и тысячу — во сне.  
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.*

Следом за Лебединской выступал Виль Липатов. Он приехал на совещание одним из руководителей. Липатов, откровенно говоря, “понёс пургу” — начал рассказывать, как они летели из Москвы, намекнул, что летели “весело”, цитировал Булата Окуджаву о том, как “всю ночь кричали петухи... и всё не наступало утро”. Под конец извинился за сумбурную речь и сошёл с трибуны, большой, лохматый и мешковатый.

Вот так вживую я впервые увидел Астафьева, Носова и Липатова.

Тотчас по заселении к Носову в номер набились люди, зазвенели стаканы. Из иркутских писателей были Валентин Распутин, Слава Шугаев, Геннадий Машкин. Тогда они ещё числились молодыми, их с удовольствием печатали московские журналы, в столичных издательствах выходили их книги, их имена тогда стояли практически рядом в так называемой “обойме”. Собравшимся в номере писателям Астафьев читал наброски своей новой повести “Царь-рыба”. Как он возвращался в родное село после войны, как ругался с теми, кто начал застраивать берег реки, где он сызмальства ходил пешком...

Иркутский поэт Пётр Иванович Реутский читал свою поэму “Чёрная сотня”: “Где сотня чёрных, высохших ртов, / Прорвав красные кордоны, упрямо шла на Ростов”. А потом рассказывал всем, какое впечатление произвела она на Астафьева.

Ещё запомнился вечер, на котором выступала Юлия Друнина:

*В семнадцать совсем уже были мы взрослые —  
Ведь нам подрастать на войне довелось...  
А нынче сменили нас девочки рослые  
Со взбитыми космами ярких волос.*

*Красивые, черти! Мы были другими —  
Военной голодной поры малыши.  
Но парни, которые с нами дружили,  
Считали, как видно, что мы хороши.*

*Любимые нас целовали в траншее,  
Любимые нам перед боем клялись.  
Чумазы, тощие, мы хорошели  
И верили: это на целую жизнь.*

*Эх, только бы выжить!.. Вернулись немногие.  
И можно ли ставить любимым в вину,  
Что нравятся девочки им длинноногие,  
Которые только рождались в войну?*

*И правда, как могут не нравиться вёсны,  
Цветение, первый полёт каблучков,  
И даже сожжённые краскою космы,  
Когда их хозяйкам семнадцать годков?..*

*А годы, как листья осенние, кружатся.  
И кажется часто, ровесницы, мне —  
В борьбе за любовь пригодится нам мужество  
Не меньше, чем на войне...*

На другой день, после открытия зонального совещания, мы все пошли на семинар, где обсуждалась повесть Вячеслава Сукачёва о парашютистах-пожарных. “За трудную работу взялся Слава Сукачёв, взялся серьёзно, талантливо. И многое с него спросится, ибо многое ему дано”, — говорил Астафьев на семинаре о Сукачёве.

В тот памятный для меня год я поступил в Иркутский государственный университет и там познакомился со своим другом, красноярским журналистом из Козульки Олегом Пащенко. В те годы мне приходилось буквально разрываться, хотелось писать, но у меня уже было двое детей, на литературные гонорары прожить было сложно. После полётов запирался на кухне, писал, а ранним утром через весь город ехал на аэродром. Вечером возвращался

с сумками продуктов, сгружал их и ехал на занятия в университет. Можно сказать, писал, не выпуская из рук штурвала. Меня даже не хотели отпустить на конференцию “Молодость, Творчество, Современность”. “Тебя учили летать, а не писать. Вот и крути штурвал!” — сказали мне. Позже я узнал: помогла настойчивость Славы Шугаева, который дозвонился до секретаря обкома Евстафия Никитича Антипина, и я прямо из кабины самолёта, в лётной форме и унтах поехал на конференцию. Там меня уже поджидали московские гости: писатель-фронтовик Владимир Яковлевич Шорор, прозаик Владимир Крупин, критик Нина Подзорова. Разговор для меня получился непростым, но полезным.

С писателями-фронтовиками я потом встречался постоянно. После Всесоюзного совещания молодых писателей рекомендацию в Союз мне дал Василь Быков: “Валерий Хайрюзов нашёл себя в литературе не только благодаря недюжинному таланту, но и редкому сердечному вниманию к простым людям, на первый взгляд, заурядным житейским ситуациям. Проза молодого писателя незатейлива по языку и построению, в ней угадывается стремление к ясности изображения, к предельно точному выражению чувств и переживаний героев. . . Литературная манера прозаика, неторопливая и обстоятельная, вызывает заслуженное уважение”.

Однако в Москве при рассмотрении моей кандидатуры неожиданно опустили шлагбаум, и тогда первым откликнулся Юрий Васильевич Бондарев, после чего мне на секретариате выдали писательский билет. На этом мои непростые отношения с писательской братией не закончилось, и тогда, после разговора Миши Еськова с Евгением Ивановичем Носовым, тот предложил мне переехать к ним в Курск.

— Аэродром у нас есть. Похлопочем насчёт квартиры. Будет летать и писать, — сказал он.

Особняком стоят наши встречи и разговоры с Виктором Петровичем Астафьевым. После событий 1993 года Александр Проханов и Владимир Бондаренко предлагали мне ответить Астафьеву, вступить с ним в полемику. Зачем? В те чёрные октябрьские дни было не до того. Я же понимаю, скажешь хорошо или обругаешь, всё останется, как было, и в том числе эти строки — и мой невольный вклад в литературный памятник, имя которому — Виктор Астафьев.

Кстати о музеях и памятниках. Существуют литературные памятники, живущие тысячелетия. Их цитируют, на них ссылаются многие. Не остался в стороне и Виктор Петрович, в “Печальном детективе” он приводит цитаты из Эклезиаста, которые, помню, произвели на многих сильное впечатление.

“... И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достаётся успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их.

Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Прости себя, своих родителей, друзей, показавших тебе эту дорогу туманных грёз, — не они виноваты в твоей беде.

И если бы я имел власть сказать, то сказал бы ещё — оставь их с любовью. Так будет лучше для тебя, ибо простивший других с любовью уже прощён. . .”

Мне же вспомнился другой литературный памятник, созданный гением Фёдора Тютчева:

*Певучесть есть в морских волнах,  
Гармония — в стихийных спорах,  
И стройный мусикийский шорох  
Струится в зыбких камышах.*

*Невозмутимый строй во всём,  
Созвучье полное в природе,  
Лишь в нашей призрачной свободе  
Разлад мы с нею сознаём.*

*Откуда, как разлад возник?  
И отчего же в общем хоре  
Душа не то поёт, что море,  
И роищет мыслящий тростник?*

Подтолкнуло написать об Астафьеве ещё одно обстоятельство: в Иркутском землячестве ушёл из жизни один из последних фронтовиков — Степан Васильевич Карнаухов. Уроженец Черемхово, он был призван в армию в 1942 году и прошёл войну от стен Москвы до Берлина, участвовал в штурме фашистской столицы и расписался на стенах рейхстага. Во многом его судьба повторяла путь Виктора Петровича, он был бронбойщиком, затем полковым связистом, был ранен осколками разорвавшейся мины и после войны написал несколько книг.

Вот один из фрагментов его воспоминаний о войне: “... старые солдаты гибли меньше, потому что они знали, что и почём. Я помню дату 15 сентября 1943 года, где-то ближе к Смоленску, я в своём блиндаже окопался, а командир артиллерийского полка — в другом блиндаже. Я получил по радиации сообщение, которое нужно было передать командиру. Едва выскочил из своего блиндажа, как вдруг рядом со мной взорвалась мина. По всем законам я должен был погибнуть. Когда взрывается снаряд, у него по траектории разлетаются осколки, у мины — настильно. Меня обожгло, впились мелкие осколки. Но я уцелел. Все потом говорили: ну, Степан, тебе жить долго, раз ты в таком случае уцелел. Бои весны того же 1943 года были изнурительные: уставали, промокали, вши одолевали. Вся шинель во вшах — в пуговицах вши, даже в звёздочке. Мы месяцами шли, наступали, не мылись. Спали-то в основном как? — Хорошо, если лес: нарубил, наломал лапнику, постелил, накрыл. А если нет? И прямо скажу: во время февральско-мартовского наступления мечтали: хоть убило бы или ранило. Самое трудное — это поднять пехоту. Миномётный огонь, артиллерийский, ружейный — пули свистят, снаряды. Залегла пехота, потому что придавило огнём вражеским. Как поднять? И много гибло командиров, особенно лейтенантов, командиров взводов — они подымали. И пинком иногда, и пистолет подставляли — подымайся, иди в атаку. А подняться нам ой, как тяжело было!..”

Незадолго до его ухода из жизни у меня произошёл с ним разговор о романе Астафьева “Прокляты и убиты”.

— Что было, то было, — сказал он. — Война есть война. — И неожиданно прочитал стихи Юлии Друниной:

*Я ушла из дома в грязную теплушку,  
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  
Дальние разрывы слушал и не слушал  
Ко всему привычный сорок первый год.  
Я пришла из школы в блиндажи сырые  
От прекрасной Дамы в “мать” и “перемать”,  
Потому что имя ближе, чем Россия,  
Не смогла сыскать.*

— В этих её девяти строчках больше правды, чем в “Проклятых и убитых”. За что их проклинать? Не пойму. Мы делали страшную, но необходимую на войне работу. Надо же придумать двойное наказание: быть не только убитыми, но и проклятыми! Ты приди ко мне, я там сделал пометки. Поговорим.

Но поговорить так и не пришлось. Не довелось мне поговорить и с Астафьевым, хотя ездившая к нему в Красноярск на овсянковские чтения главный редактор “Сибирячки” Света Асламова говорила, что он хотел меня видеть. И вот теперь я решил написать о тех незабываемых встречах с Виктором Петровичем, отдать всем фронтовикам, ушедшему поколению победителей, говоря его словами, последний поклон.

Зимой 1980 года издательство “Молодая гвардия” пригласило меня в Красноярск. Я прямо в лётной форме, после рейса, успел добежать до вылетающего в Красноярск самолёта, буквально перед закрытием дверей запрыгнул к своим одноклассникам в пилотскую кабину и полетел к Астафьеву. Из Москвы в Красноярск прилетел главный редактор издательства Николай Машовец, редактор отдела прозы Зоя Николаевна Яхонтова, поэт Анатолий Преловский, писатель из Кургана Виктор Потанин... Тогда Виктор Петрович Астафьев только что переехал в Красноярск из Вологды, и мы вечером собрались к нему на новоселье.

В квартире ещё было пусто, не хватало стульев, посуды. Поскольку ещё не приехала хозяйка — жена Астафьева Мария Семеновна, мы втрём — Зоя

Николаевна, Виктор Петрович и я — начали хозяйничать на кухне. Я чистил картошку, Зоя Николаевна резала колбасу, затем почистила и красиво разложила на тарелке красную рыбу. Виктор Петрович поглядывал на меня одним глазом, улыбаясь, спросил, где это я так ловко научился чистить картошку. Тут же к нам присоединился Коля Машовец, и общими усилиями мы быстро накрыли стол. Все шутили, больше всех, конечно же, Астафьев, и то застолье осталось в памяти тем, что каждый хотел высказать Виктору Петровичу свою любовь и самые лучшие чувства. Мне показалось, он был рад, что наконец-то вернулся в свои края, на берега Енисея, где, как он говорил, впервые увидел свет Божий. На Чусовой и в Вологде он был заезжим, а здесь своим в доску парнем, которого земляки готовы были носить на руках.

— Вот здесь, в Сибири, вы, Виктор Петрович, встречаете нас настоящим таёжным ужином, — сказал Машовец. — Мы это запомним надолго!

Под конец застолья мы начали петь сибирские и военные песни. И прозвонить здравицы издательству “Молодая гвардия”, которое собрало нас здесь под астафьевской крышей. Словом, стали делиться самым главным, что было на тот момент у каждого на душе.

Запомнилось, что Анатолий Преловский вдруг вместо стихов стал рассказывать, как молодые большевики в тридцать седьмом вырезали старую ленинскую гвардию, сам же Астафьев рассказал, как за три дня и три ночи написал “Пастуха и пастушку”. Запомнилось его слова про убитых, только что прибывших на фронт молодых пацанов: “И лежали они, сложенные кучкой, и стриженные их головы напоминали сваленную в углу немытую картошку”. И неожиданно он прочитал нам стихи, которые написал фронтовик Сергей Орлов:

*Его зарыли в шар земной,  
А был он лишь солдат,  
Всего, друзья, солдат простой,  
Без званий и наград.  
Ему как мавзолеей земля —  
На миллион веков,  
И Млечные Пути пылят  
Вокруг него с боков.  
На рыжих скатах тучи спят,  
Метелицы метут,  
Грома тяжёлые гремят,  
Ветра разбег берут.  
Давным-давно окончен бой...  
Руками всех друзей  
Положен парень в шар земной,  
Как будто в мавзолеей...*

— И лежит он там один посреди России.

Астафьев одной фразой соединил стихотворение Орлова с последней строкой из “Пастуха и пастушки”. Память у Астафьева была великолепной. Как-то во время заседания, посвящённого проблеме загрязнения великих озёр, которое по инициативе Распутина проходило в Иркутске, он стал пересказывать “Оду русскому огороду”, почти слово в слово, доверительно и проникновенно. Сидевшие в зале японцы включили свои камеры и стали записывать только его одного. Остальных, в том числе и Распутина, вежливо пропущивали. Да и не умел так складно говорить Валентин. Волновался, запинался. Это потом научился, но уж если говорил, то говорил искренне, от сердца.

На другой день нас пригласили в редакцию “Красноярского комсомольца”, где я познакомился с подругой Олега Пашенко Ириной Лусниковой, а оттуда отвезли на красноярское телевидение. Перед эфиром мы зашли к главному редактору, он угостил нас коньяком. В студии мы сели в кресла, и секретарь красноярской писательской организации поэт Зорий Яхнин как хозяин первым открыл встречу:

*Наглажу брюки. На штиблеты — глянец...  
Любимая, мы перейдём на “вы”.*

*Я приглашу вас на старинный танец  
Покорным жестом смелой головы.*

Неожиданно запнувшись, Зорий торопливо начал искать в кармане свою книжечку стихов, а красавица телеведущая подсказала ему следующие строчки:

*Навстречу мне с наигранным испугом  
Вы двинетесь, с височка прядь убрав.  
Давайте церемониться друг с другом  
И не хватать друг друга за рукав.*

Виктор Потанин тепло и проникновенно рассказывал про своего земляка Терентия Мальцева, как тот босиком ходит по курганской земле, Астафьев — про “Пастуха и пастушку”. Говорил ярко, образно, с деталями. Я сидел, слушал, мотал себе на ус и, припоминая вчерашний вечер в квартире Астафьева, думал, что его рассказ был своеобразной репетицией перед выступлением на красноярском телевидении. Затем предоставили слово мне.

Как бы подлаживаясь под Астафьева, я стал рассказывать про своего лётчика-инструктора Виктора Никитича Данилина, который во время войны сбил семь немецких самолётов. Припомнив его шепелявящий говорок, уже не обращая внимания на камеры, я начал, шепелявя, описывать его знаменитые правила воздушного боя. Коньяк дал о себе знать в самую неподходящую минуту. Как потом мне сказали: понесли ботинки Васю!

“Увидел точку в небе, считай её условным самолётом противника! — загибая пальцы, начал перечислять я. — Держись ведущего, чего бы это тебе ни стоило! Потерял — пропал! Кто хозяин высоты, тот хозяин боя!” Гляжу — Астафьев в восторге, откинувшись в кресле, он, смеясь, удивлённо и доброжелательно смотрел на прыткого, залетевшего в их края лётчика. Под конец я попросил телеведущую угадать волшебное слово из двадцати букв. Улыбаясь, она посмотрела на меня с некоторым недоумением.

— Предусмотрительность! — выпалил я и добавил, что начинающий лётчик и начинающий писатель должен знать это слово. Позже, уже выходя из студии, я ругал себя, вспомнив Данилина, который предостерегал начинающих лётчиков ни в коем случае не садиться выпившим за штурвал самолёта. Допустить такой прокол! Да ещё на глазах тысяч телезрителей... Уже прощаясь с руководством телевидения, Виктор Петрович сказал, что очень доволен моим выступлением, и добавил, что этот характер лётчика-истребителя надо обязательно выписать. Я облегчённо улыбнулся: над повестью “Приют для списанных пилотов”, где главным героем был бывалый лётчик, я уже работал.

Впервые о малоизвестном письме Александра Куприна и о вечном для российской интеллигенции вопросе я узнал, когда приехал к Астафьеву в его красноярскую квартиру в Академгородке. Письмо Куприна Батюшкову в те времена отыскать было невозможно. Да и не знал я о нём, мало ли какие письма ходили по рукам! Астафьев принёс его отпечатанным на машинке и тут же, после моего прочтения, засунул в шкаф.

“...Каждый еврей родится на свет божий с предначертанной миссией быть русским писателем, — процитировал Виктор Петрович Куприна. — Все мы давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской повышенной чувствительности, еврейской многовековой спайки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, как стая оводов, способных убить в болоте лошадь... Мы, русские, так уж созданы нашим русским Богом, что умеем болеть чужой болью, как своей. Сострадаем Польше и отдаём за неё свою жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, волнуемся за Болгарию или идём волонтёрами к Гарибальди. И никто не способен так великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренне бросить свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как мы. И не от того ли нашей русской революции так боится свободная, конституционная Европа с Жоресом и Бебелем, с немецкими и французскими буржуа во главе...”

И пусть это будет так. Твёрже, чем в мой завтрашний день, верю в великое мировое загадочное предначертание моей страны и в числе её милых,

глупых, грубых, святых и цельных черт – горячо люблю её безграничную христианскую душу.

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал: “Извините”, – побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и, когда его клиент ошарашен от изумления, фигаро спокойно объяснил: “Ничего-с. Всё равно завтра переезжаем-с”.

Александра Куприна я любил, особенно его повесть “Суламифь”. И знал, что возлюбленная царя Соломона была иудейкой. Я родился и вырос в Барабинском предместье, общался и дружил со многими сверстниками. Детей цирюльников среди них не было. Были выселенные в Сибирь татары, они жили в бараках и держались обособленно. Да, бывало, мы дрались с ними, но это не мешало нам приходиться в школу и садиться за одни парты и вместе сбежать с уроков в кино. Моя школьная учительница математики Римма Ефимовна держала нас в ежовых рукавицах, и я был ей благодарен: если бы не её настойчивость, строгость и требовательность, не видать бы мне лётного училища, как своих ушей. Когда она, давая нам контрольное задание, надевала очки, все затихали, казалось, через их стекла она видела насквозь все наши помыслы. Когда снимала, класс облегчённо выдыхал: можно было списывать и жить по-старому. В лётном училище, в казарме рядом со мной на соседней кровати спал Боря Нагле. Он хорошо играл на баяне и пел. Когда нас посылали на кухню чистить картошку, мы просили его прихватить с собой баян. Ходить строем лучше всего под духовой оркестр, а чистить картошку, конечно же, под баян.

Пару лет спустя Виктор Петрович вместе с Марией Семёновной и Олегом Пашенко приехали в Иркутск. Мы встретили их на вокзале, разместили в гостинице, обкомовские начали совать Астафьеву расписание встреч, он глянул одним глазом и сказал:

– Потом, потом. Мы съездим к Валере в Добролёт, отдохнём немного от городской пыли. У меня, знаете ли, лёгкие.

– Да мы вас на Байкал, в санаторий, – затараторили ответственные за приём дорогого гостя из обкома партии.

– Позже. Позже! – махнул рукой Виктор Петрович.

И мы укатили в Добролёт. Мария Семёновна, Виктор Петрович, Гена Сапронов, Олег Пашенко, Валерий Карасёв. Днём Астафьев с ружьём и в сопровождении фотокорреспондента уходил на охоту, приносил рябчиков, мы с Марией Семёновной варили уху, я чистил картошку, носил воду, топил печь. Уха из ангарского хариуса, которого мы купили у рыбаков прямо на берегу Ангары, была наваристой и сладкой, а водка – ещё слаще. Гена Сапронов приехал в Добролёт с фотоаппаратом и магнитофоном. Там он записал более десятка кассет. Фотокорреспондент “Восточки” Карасёв неустанно снимал своим “Никоном”, и позже фотографии из моей деревни замелькали в газетах и книгах.

Стояла поздняя сибирская осень, уже выпал снег. Когда-то этот ныне принадлежащий мне дом был деревенской школой с тремя комнатами и двумя печками. Мы раскалили их докрасна, стало тепло, сухо, весело. За окнами – лёгкий морозец, низкие звёзды и близкий лес, даже не лес – тайга.

Астафьев рассказывал нам о войне, и многие детали, как и всегда в его рассказах, были живыми и страшными. Слушая Астафьева, я вдруг поймал себя на том, что мне совсем не нравятся оценки, которые он даёт, сравнивая немецких и наших солдат. Выходило, что немец обстоятелен, запаслив, обустроен в окопах и моторизирован на марше. У него всё продумано и просчитано на несколько шагов вперёд. Наш же чаще всего в обмотках, неряшлив, безалаберен и сиротлив. Холодный и голодный, мокнет, месит грязь по дорогам, жуёт то, что попадётся по пути. Такого можно только пожалеть! Генералы и офицеры вообще бестолковы, грубы, им наплевать на человеческие судьбы.

А вот немецкого фельдмаршала Манштейна Астафьев просто боготворил. Говорил, что, осаждая Севастополь, Манштейн не только держал взаперти огромную группировку наших войск в Крыму, но, по его словам, успел сбежать и взять Керчь, сбросить генерала Кулика в море, а потом разобрался с Петровым и Октябрьским, которые в июне сорок второго, когда стало ясно, что Севастополь придётся сдать, бежали из города на самолёте, бросив подчинённых и переодевшись в гражданскую одежду. Мне тогда казалось,

Астафьев говорит о наших промахах с мыслью, что, мол, надо учиться воинскому делу у более умелого противника.

— И всё же войну закончили не в Москве, а в Берлине, — заметил я.

— Да, завалив поля под Ржевом трупами сибирских дивизий и поедая американскую тушёнку, которую привезли на студебеккерах, — хмуро бросил Астафьев. Его неожиданно поддержал Сапронов, который к тому времени возглавлял газету “Советская молодёжь”.

— Без поставок по ленд-лизу мы вряд ли бы справились, — сказал он.

Разговор перекинулся на современные события, которые происходили на Ближнем Востоке.

— Маленькое государство с населением современного Киева в считанные дни разгромило армии Египта, Сирии и Ирака, — сказал Астафьев. — А их учили и натаскивали наши инструктора, по новым нашим воинским уставам.

— Когда арабы ещё спали, израильская авиация уничтожила на земле целую дивизию дальних бомбардировщиков Ту-16, — добавил я. — И получила полное господство в воздухе. Виктор Петрович, помните, как я на вашем телевидении говорил о заповедях старого лётчика, фронтовика Данилина? “Кто хозяин неба, тот диктует свою волю противнику”. И, конечно же, его волшебное слово из двадцати букв. Известно, что израильская разведка “Моссад” — одна из лучших в мире. Она предусмотрительно выложила на стол всю инфраструктуру и расположение объектов арабских армий.

— Вообще-то богатым евреям государство было и не нужно, — решил я поменять тему разговора. — Имея деньги, они использовали уже существующие политические образования. Прежде всего, в государстве Израиль были заинтересованы бедные евреи. Им нужна была историческая родина, сохранение религиозных традиций, языка. Страна, которая бы защищала их. Сосем недавно несколько соседей из моего подъезда туда отправились. Правда, некоторые вскоре вернулись обратно.

— Умных там и так предостаточно, — засмеялся Астафьев. — Зачем мы здесь за моря поехали? Нам бы с теми, кто у нас под боком живёт, разобраться. С теми же грузинами, хохлами и прибалтами. — И, вздохнув, добавил: — Ох, ещё нахлебаемся мы с ними!

— Виктор Петрович, это правда, что тем, кто первым форсирует Днепр, давали звание Героя Советского Союза? — спросил Сапронов.

— Я два раза переплывал Днепр с донесениями. Там, на правом берегу, рядом со мной разорвалась кассетная бомба. Так я лишился одного глаза. Всем известно — есть орденосцы, а есть и орденопросцы. Главная награда моя — что живым остался. Своё спасение я должен отрабатывать и отрабатывать...

Вспоминая Николая Рубцова, Виктор Петрович показывал, как тот пел свои песни. Пел Астафьев хорошо, точно передавая не только мелодию, но и движения самого Рубцова, как он прислонял голову к мехам гармошки и растягивал её чуть ли не до пола.

*Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...  
Вот наступит октябрь — и покажутся вдруг журавли!  
И разбудят меня, позовут журавлиные крики  
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали...  
Широко по Руси предназначенный срок увяданья  
Возвещают они, как сказание древних страниц.  
Всё, что есть на душе, до конца выражает рыданье  
И высокий полёт этих гордых прославленных птиц.*

Чего-чего, а уж артистизма Виктору Петровичу было не занимать.

Как-то утром, когда он ушёл на прогулку, Мария Семёновна, ловко очищая с хариуса чешую, рассказала мне, как однажды Рубцов пришёл к ним занимать деньги.

— Гляжу, стоит у дверей, а губы у него пересохшие, чёрные, он их вытирает рукой, глаза в пол. Я ему вынесла и сказала, что тебе, Коля, пора взяться за ум. Он сжал губы, что-то забормотал, денег не взял и, повернувшись, пошёл вниз по лестнице...

Мария Семёновна была хорошей рассказчицей. Помнится, она, смеясь, рассказывала, как перепечатывала “Пастуха и пастушку” несколько раз.



– Перепечатаю его ночные каракули, а он возьмёт – и снова всё изма-  
пает!

Как-то разговор зашёл о немецких женщинах. Астафьев и здесь нашёл для них хорошее слово, посмеиваясь, сказал, что немецкая фрау, помытая и надушенная, принимает мужа по графику в пятницу, но не более чем раз в неделю.

– Поэтому они и проиграли войну, – засмеявшись, подытожил Олег Пашенко.

Вернувшись в Иркутск, мы узнали, что Виктора Петровича, Марию Семёновну и Олега Пашенко пригласил к себе в гости Распутин. Я проводил их до дверей квартиры Валентина и начал прощаться.

– А ты что не идёшь? – спросил Астафьев. – Мы вроде бы как вместе.

– Меня не приглашали, – сказал я и вышел на улицу.

Приехав домой, узнал, что звонил Валентин Григорьевич. Надо сказать, в то время у нас с Распутиным были прохладные отношения, я ему не звонил, и он мне. Через минуту вновь раздался звонок:

– Валера, я очень прошу тебя прийти ко мне.

Таким голосом Распутин со мной ещё не говорил. И я пошёл.

У Распутиных уже все сидели за столом: красноярские гости, Светлана Ивановна, мать Распутина, маленькая, тихая, спокойная. Увидев меня, Астафьев подморгнул одним глазом и кивнул на стул, который стоял рядом с ним. В тот вечер он был в ударе, весело шутил, рассказывал, как мы отдохнули в Добролёте. Позже Олег Пашенко рассказал мне, что едва они вошли к Распутину, Астафьев в сердцах выпалил:

– Я не пойму, как вы здесь живёте? Почему человек доходит до двери и бежит от неё, как от прокажённой?

Распутин всё понял и начал звонить мне.

А на другой день они вместе с Распутиным были уже в гостях у меня, и вновь Астафьев был центром компании, хвалил мои книжные полки, приготовленный ужин и можжевелевую финскую водку, которую я привёз из далёкого северного посёлка Тикси. Уже перед отъездом красноярцев нас пригласили в Восточно-Сибирское книжное издательство, и там на вопрос, кого из молодых писателей России он считает перспективным автором, Астафьев показал пальцем в мою сторону.

– Я считаю таким Валеру Хайрюзова.

Позже, когда режиссёр Владлен Павлович Трошкин из ЦДСФ начал снимать документальный фильм “Взлётная полоса”, Виктор Петрович в перерыве съезда писателей, вновь, уже на камеру, скажет, что из меня получится стоящий писатель.

– А остальные вершины пусть Валера берёт сам, – сказал он. – Если достигнет больших, то я буду рад за него и нашу Сибирь!

Про переписку Астафьева и Натана Эйдельмана написано немало, и здесь нечего добавить или убавить. Приведу только фрагмент интервью Астафьева немецкому издателю.

“Он человек очень подлый, конечно. И всё его письмо очень подлое, хотя сверху благолепное такое. Я подумал, можно, значит, с ним вступить в какую-то полемику, но, во-первых, мне не хотелось, во-вторых, много чести. И тогда я по-детдомовски, по-нашему так, по-деревенски ... Что там есть, как, но я ему дал просто между глаз”.

Письмо Эйдельмана и ответ Астафьева вызвали настоящее землетрясение среди тогда ещё советских писателей, но в том нашем сидении в Добролёте о письме мы почти не вспоминали. А вот на писательском съезде рассказ “Ловля пескарей в Грузии” вспомнили, да ещё как! Обсуждение этого литературного шедевра Астафьева стало чуть ли не главным событием съезда. Астафьев живописно, с иронией над самим собой и над принимавшими его гостями писал: “Среди многих остроумных и ядовитых анекдотов, услышанных в Грузии, где главными и самыми ловкими персонажами выступали гурийцы, густо населяющие грузинскую землю, как бы после вселенской катастрофы окутанную пылью, более других мне запомнился такой вот: большевик по имени Филипп в горном селе агитировал гурийцев в колхоз, и такой он расписал будущий колхозный рай, такое наобещал счастье и праздничный коллективный труд, что старейшина села, обнимая агитатора, с рыданием

возгласил: “Дорогой Филипп! Колхоз такой хороший, а мы, грузины, такие плохие, что друг другу не подходим...”

Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатствами молодого поколения гурийского племени, я тоже возопил:

— Дорогой Отар! Кутаиси — город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим.

Отар величественно кивнул головой, и мы миновали Кутаиси, и правильно сделали, потому что сэкономили время для священного места — Гелати, попав туда с неиспорченным настроением, с неутомлённым глазом и недооскорблённой душой...”

А вот с какой болью пишет Астафьев о своей малой родине, ну, прямо ножом по сердцу. И никакого сочувствия от наших южных собратьев по перу, мол, сами в том виноваты. “...И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом от каждого ухоженного кавказского родника, — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного ещё сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его жёлтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать. Наверху, на утёсах, под видом окультуривания леса обрубили, оголили камень, издырявили бурами всё вокруг, отыскивая дешёвую быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймёшь, не разберёшь, кто, чего и зачем ищет, рыскающая по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, полыхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пёстренький летом, а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглошную, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением оставленную, никому не нужную, забытую...”

...Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не куривших вино, а скупивших всё это по дешёвке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: “Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!” Они не читали книжку про тебя, Витязь...”

И, конечно же, блестящий финал рассказа, которым Астафьев, видимо, хотел сгладить не совсем приятные для грузинского уха высказывания.

“...Дядя Вася от волнения совсем сдал. Зажимая разбитую, посиневшую часть лица — неприятно же гостям смотреть! — он с мольбой вопрошал Отара:

— Хорошо было, скажи? Хорошо?

Отар обнимал дядю Васю, легонько хлопал его по спине и успокаивал, но успокоить никак не мог. Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины тоже слышали, произнёс:

— Только у вас да ещё в Гелати я почуствовал, что есть настоящая Грузия и грузины! — И ещё раз, древним русским поклоном — рука до земли — поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, а дядю Васю снова вбил в слезу.

— Если тебя... если тебя... — заливаясь слезами, молвил он, — торогой мой русский гость, кто обидит у нас, того обидит Бог...”

Обидели, да что там — взвилась от злобы: как ты посмел притронуться своим ржавым пером к нашему святому! Как?!

Когда на съезде началась перепалка, связанная с обсуждением этого, несомненно, литературного шедевра, грузинские писатели толпой начали демонстративно выходить из зала заседаний. Владимир Крупин встал со своего места и крикнул им вслед:

*Недолго продолжался бой:  
Бежали робкие грузины!  
...Скакун лихой, ты господина  
Из боя вынес, как стрела,  
Но злая пуля осетина  
Его во мраке догнала...*

Я вышел в фойе и увидел невиданное: седовласого, с высоким челом не-божителя Эдуарда Шеварднадзе окружила вся в чёрном гортанная стая и что-то кричали ему по-грузински.

— Ес укве метисметиа! Ес укве метисметиа! Это уже слишком!

Шеварнадзе, как сова, хлопая большими глазами, что-то растерянно бормотал в ответ.

Много позже мы станем свидетелями последствий развала Советского Союза, подогреваемого, в том числе, интеллигенцией: война в Абхазии, обстрел Цхинвала, пятидневная война в Южной Осетии. Грузия, имея поддержку США, решилась на авантюру, полагая, что может диктовать свою волю России. И просчиталась! Ну, как тут вновь не вспомнить бессмертные слова Михаила Юрьевича Лермонтова: "... бежали робкие грузины"! За тринадцать лет до этих событий первым бежал Шеварднадзе из Сухума, затем, заслышав гул самолётов, бежал Саакашвили вместе со своим потешным войском.

... На следующий день на том писательском съезде слово взял Валентин Распутин. Желая примирить стороны, он сказал, что мы все живём в коммунальной квартире. Но если можно говорить о пьянстве русского мужика, то почему нужно молчать о грузинах?

Следом на трибуну, со своими извинениями перед грузинами, поднялся автор "Белого Бима" Гавриил Троепольский. Астафьев послушал немного и на виду всего зала встал и пошёл к выходу. Я встретил его в фойе.

— Наконец-то все увидели настоящее лицо наших так называемых сожителей. Помните, вы нам говорили про них в Добролёте?

— Ти-х-о-о! — испуганно выдохнул Астафьев. — Ты даже не представляешь, какие черви копошатся у них в головах. И что они могут сделать с тобой и твоей семьей.

В его голосе я уловил настоящий страх. По дороге в гостиницу он рассказал, что по ночам ему начали звонить люди с акцентом и угрожали засунуть стальное перо в задницу. А потом вдруг внезапно скончалась дочь Виктора Петровича Ирина...

А потом началась перестройка, переделка, которая вскоре переросла в перестрелку. И многое, то, что казалось вечным и неизблемым, начало разваливаться буквально на глазах. И не без помощи писательского слова. Смотреть на всё это было больно. Невыносимо!

В конце ноября 1991 года ушла из жизни Юлия Владимировна Друнина. Оставила нам свои стихи. В том числе и последнее...

*Ухожу, нету сил. Лишь издали  
(Все ж крещёная!) помолюсь  
За таких вот, как вы, — за избранных  
Удержать над обрывом Русь.  
Но боюсь, что и вы бессильны.  
Потому выбираю смерть.  
Как летит под откос Россия,  
Не могу, не хочу смотреть!*

В 1993 году, когда я был народным депутатом и членом Верховного Совета, в Москве произошли события, которые во многом определили путь России на ближайшие десятилетия. Ельцин и его команда перешли к танковой дипломатии. У министра обороны Павла Грачёва появился свой "рейхстаг", который он успешно взял. А 5 октября газета "Известия" опубликовало письмо "сорока двух":

"И "Ведьмы", а вернее — красно-коричневые оборотни, нагледя от безнаказанности, оклеивали на глазах милиции стены своими ядовитыми листками,

грязно оскорбляя народ, государство, его законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать... Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли её продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

... Мы должны на этот раз жёстко потребовать от правительства и президента то, что они должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали.

1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений должны быть распущены и запрещены указом президента.

2. Все незаконные военизированные, а тем более вооружённые объединения и группы должны быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому обязывает закон).

3. Законодательство, предусматривающее жёсткие санкции за пропаганду фашизма, шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно, наконец, заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.

4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как "День", "Правда", "Советская Россия", "Литературная Россия" (а также телепрограмма "600 секунд"), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.

5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти России, должна быть приостановлена.

6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют "судом над ГКЧП".

7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все образованные им органы (в том числе и Конституционный суд).

История ещё раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и цивилизованности. Не упустим же такой шанс ещё раз, как это было уже не однажды!"

Спустя годы Даниил Гранин, осознав свою скоропалительную позицию того времени, сказал: "История – скоропортящийся продукт. Она гниет. Она подвергается разворовыванию. Но, в конце концов, она обязательно торжествует". Посему всем остальным подписавшимся и сочувствующим напомним: "Преступник может иногда избежать наказания, но не страха перед ним" (Сенека).

На другой день после расстрела Белого дома в газете "Красноярский рабочий" была напечатана статья. Она была названа в духе передовиц времён Советского Союза. В ней Виктор Петрович посвятил несколько строк и моей персоне.

### **Пора работать!**

*"... Писатель (да и не писатель, а всего лишь член Союза писателей из Иркутска), пробившийся в депутаты. Бывший лётчик, отец детей, ещё полтора года назад, своим бывшим товарищам заявил: "Мы скоро вас всех перевешаем...!"*

Досталось и моему другу, бывшему младшему "брату" Астафьева Олегу Пашенко.

*"... А здесь у нас в Красноярске была явлена народу так называемая народная "Красноярская газета", которую здешние, не потерявшие ума журналисты называли "Подворотней". Сделана она была московскими гостями-реваншистами, перепечатывая статьи из "Дня", "Советской России" и из тому подобных грязных листов..."*

Рассказывают, что Астафьев в те октябрьские дни прилетел в Россию из-за границы. Летел и думал, что вот эти “Пашенки–Кашенки” встретят его, всенародно любимого, возьмут возле трапа самолёта под белые ручки, отведут к забору и расстреляют. Ну, что тут скажешь, перепугался до икоты. И от этого начал пугать других. Когда был на фронте, ему терять было нечего, кроме собственной жизни. Теперь было что терять: столько лет строил пирамиду-музей собственного имени, и всё могло рухнуть в одночасье! Да пусть развалится всё – страна, отношения, погибнут люди – не жалко. А вот себя... Только в больной голове могло родиться, что Олег Пашенко, которого он в те дни стал называть “Кашенко”, якобы собирается упечь его и Марию Семёнову в лагерь...

“Пора браться за работу!” До этого дня, выходит, прохлаждались, травили анекдоты, ездили, гуляли, веселились, срывали аплодисменты у благодарных читателей. Всё, пора с этим кончать. За работу, господа! Начало положено: согнанные со всей страны, наколотые и напоенные Гайдаром омовцы своё отработали, пустили кровь защитников Дома Советов. Теперь надо, не теряя темпа, довершить начатое и добить “гадину”. Писатели уже наточили свои перья и обратились с призывом ко всенародно избранному. И Астафьев предупредительно, как бы не отстать, показал вектор действий.

“Так когда же ты был, Виктор Петрович, настоящим? Когда говорил обо мне на камеру Владлену Трошкину или сейчас?” – думал я, прочитав присланную мне газету “Красноярский рабочий”. Заныли, вновь заболели выбитые прикладом омовца зубы. Да что зубы! Как вместить ту боль, которая обрушилась в те дни на Россию, как жить с нею дальше?..

Я вдруг вспомнил, как Астафьев прокомментировал свой ответ Эйдельману. Вспомнил и тела молодых ребят, лежавших на мраморных плитах приёмной Белого дома, чьи головы с запёкшей кровью были действительно похожи на невытую картошку. Только убиты они были не немцами, а своими же, по приказу полупьяного владыки некогда великой страны, в чёрные дни октября 1993 года... И уже не сдерживаясь, так же по-нашему, по-деревенски, чтобы понял, я послал в Красноярск телеграмму.

#### ТЕЛЕФОНОГРАММА ИЗ МОСКВЫ КРАСНОЯРСК ВИКТОРУ АСТАФЬЕВУ

*“Вполне обдуманно и мстительно вы оскорбляете меня и других людей в недавней доносительной заметке в вашем “Красноярском рабочем”, которую с готовностью перепечатала московская “Литгазета”. Приписали мне для чего-то слово “вешать”. Откуда взяли это? В моём лексиконе нет этого слова “вешать”, у меня растут сыновья, растёт внучка. Как вам не совестно, Виктор Петрович? Доживаете с таким адом в душе – это страшное наказание. Одумайтесь же, старый больной человек! Захлёбываетесь в злобе и ненависти, сеете раздор и безобразие. Люди когда-то уважали Вас. А Вы в своих последних писаниях настойчиво, как упырь, желаете свежей тёплой крови. Наконец-то она по вине любезной Вам президентской власти пролилась в Москве! Так умойтесь же ею!*

Валерий ХАЙРЮЗОВ, русский лётчик, прозаик, народный депутат России.  
12 октября 1993 г.”

Где сегодня все те, кто подписывал письмо Ельцину? Иных уж нет, другие – далече.

Почему-то вспомнились стихи А. С. Пушкина:

*...И ненавидите вы нас...  
За что ж? Ответствуйте: за то ли,  
Что на развалинах пылающей Москвы  
Мы не признали наглой воли  
Того, под кем дрожали вы?*

А между тем, события не заставили себя ждать. Несколько раз в ночную дверь стучались люди, один – в чёрном, двое с ним – в камуфляже, с балаклавами на лице и с автоматами. Они ходили по квартирам к таким же, как и я, попавшим в чёрный список белодомовцам, и совали бумажку от мэра с предписанием в трёхдневный срок покинуть помещение. Не оставляла нас своим

вниманием и прокуратура, несколько раз мне предлагали приехать на Воздвиженку. Я приезжал, со мной беседовали следователи по особо важным делам, которых согнали со всей страны. Они выясняли степень причастности к событиям 3-го и 4 октября в Москве. Приходилось отвечать, что мы в Белом доме защищали закон и Конституцию, а не привилегии.

— За привилегии можно держаться, но не умирать!

Когда я по старой привычке решил, попросившись к своим коллегам-лётчикам, улететь в Иркутск, мой бывший однокашник по лётному училищу Валерий Чичин, отвернув до хруста голову, процедил, что не хочет терять работу из-за таких “зайцев”. Слава Богу, директор авиационного завода Геннадий Николаевич Горбунов распорядился, чтобы мы с депутатом из Иркутска Леонидом Ясенковым заводским самолётом прилетели на родину, а после предписания явиться в прокуратуру вновь отправились в Москву.

В служебных московских квартирах у таких же бедолаг-депутатов были отключены свет и телефон, вот так в потёмках жена и дети ждали, куда им двигаться дальше. Жили на узлах. Для переезда обратно в Иркутск нужны были деньги, а их взять было неоткуда. Мир, конечно, не без добрых людей. Деньги мне предлагали Василий Иванович Белов, Валерий Николаевич Ганичев, Валера Исаев. Какие-то деньги из Иркутска мне собрала и передала Надя Шестакова. Но жить на подаяние — последнее дело.

Узнав, что в парке начали выпиливать порченые, подгнившие деревья, и вспомнив, что у себя в деревне Добролёт для бани мне не раз приходилось пилить на чурки сосны и листовик такой же бензопилой “Дружба”, я напросился на работу. Меня проверили — попросили отпилить пару чурок — и взяли.

Конечно, ручки “Дружбы” хоть и напоминали самолётный штурвал, но работа была, прямо скажу, тяжёлой, как на лесоповале. Приходил домой пропахший бензиновой гарью и клал на стол деньги — платили исправно, в конце рабочего дня. Полмесяца я пилил и резал на чурки подгнившие вековые дубы и вязы. Некоторые чурки были по метру в диаметре. Присев на одну из них отдохнуть, я насчитал более сотни годовых колец. Значит, некоторые из деревьев были посажены ещё во времена Российской империи. И вот сгнили.

Распиленные чурки отвозили на машине в строящийся здесь же в густом дубовом парке “Грузинский дворик”, а чуть подальше, в глубине, за высоким забором ударными темпами без пыли и шума было отстроено ещё одно гнёздышко: охрана в камуфляже, автоматический шлагбаум, пароль, сладкий запах шашлыков и дымок из высокой трубы. Позже я узнал, что туда для услуждений на ночь привозили элитных проституток. Удобно, в центре Москвы, почти в лесу — ни шума тебе, ни внезапных проверок, за всё уплачено...

А я сидел на чурке и думал: “Хорошо ещё, что не в зоне...” — и вспомнил “Ловлю пескарей в Грузии”: “Ты пыл бэдный! Пудэш бэдный! Я пыл богатый! Пуду богатый!” Они не читали книжку про тебя, Витязь...

Да и читать-то было нечего, все оппозиционные газеты “Завтра”, “День”, “Советская Россия” были закрыты. Лишь “Московский комсомолец” со своих страниц призывал: “Борис Николаевич, умоляем, откройте охоту на красно-коричневых ведьм!”

Когда я всё же добрался до Иркутска и пошёл трудоустроиваться на прежнюю работу, мне, отцу троих детей, не дали вновь сесть за штурвал самолёта, более того, командир объединённого авиаотряда Владимир Коваленко, к которому я записался на приём, сделал всё, чтобы нашей встречи не произошло. В поликлинике, где нам продлевали годность к полётам, медсестра Галя Фирсова, вздохнув, сообщила: у меня мало шансов пройти медицинскую комиссию.

— Теперь тебя будут проверять с пристрастием. Высоко взлетел, теперь мягкой посадки не жди. Это я тебе по-дружески говорю...

Гале я поверил. С её мужем Алёшей Фурсовым мы долго летали в одном экипаже.

В Иркутске мне сообщили, что по распоряжению министра внутренних дел Ерина за мною и за такими же депутатами-сидельцами установлено наблюдение. Тогда мне казалось, что я потерял всё. Но поддержка была. И, в первую очередь, со стороны Валентина Распутина. Он пригласил всех желающих, в том числе и журналистов, в иркутский Дом писателей. Зал был забит до

отказа. Знал ли он о публикациях в “Красноярском рабочем” и в “ЛГ”? Конечно, знал, но старался не копаться в этом. Более того, когда я начал рассказывать об октябрьских событиях в Москве, незнакомый мне худолитый мужчина заорал, что не желает, мол, слушать государственного преступника и что моё место не в этом зале, а на дощатых нарах. Тогда Распутин встал и спокойным голосом сказал:

– Не мешайте! Мы сами разберёмся, кому и где быть, и что говорить.

Вопросы были разными, в том числе и о “русском фашизме”.

Однажды, когда мы с Распутиным поехали к Илье Сумарокову, нас до самых ворот усольского свиного комплекса сопровождала серая “Волга”. Илья Алексеевич встретил нас и, улыбнувшись, сказал, что у тех, кто сегодня громче всех кричит, отсохнут языки.

– Мне они напоминают солдата из фильма “Мы с Кронштадта”. Он сидел в окопе и, в зависимости от складывающейся ситуации, то снимал, то надевал погоны, причитая: “Мы пскопские, мы пскопские!” Поживём – увидим, что они будут петь дальше!

Позже я не раз задавал себе вопрос: разве Астафьев раньше не знал, что Олег – “красный”? Знал, но держал рядом. Королю нужно окружение, свита. Олег с этой обязанностью справлялся блистательно. И сам грелся в лучах славы Виктора Петровича. А потом, когда страна начала разваливаться, Астафьев решил его ударить побольнее, не тупым носком валенка, а словом, которое бьёт во сто крат сильнее. Лишь потом, спустя много лет он понял, что других, таких же преданных и отзывчивых, рядом уже никогда не будет. И злился от этого ещё больше. Но гордыня отомстила ему пустотой вокруг. Он и Курбатов – умного златоуста, писателя и критика – держал рядом для услаждения слуха: каждому хочется, чтобы рядом был свой собственный Белинский.

Брать премии, звёзды от коммунистов было не зазорно, но и плевать в дающую руку не следовало.

Друг и критик Виктора Петровича Валентин Курбатов в статье, посвящённой Евгению Ивановичу Носову, сделал неожиданное признание об Астафьеве: “. . . Весь человек оставлен Богом в игрушку похотливому дьяволу. . .”

Самая большая награда – данная тебе Господом жизнь. Но распорядиться ею можно по-разному. Что из того, что Язова, Варенникова, затем Руцкого и Хасбулатова упрятали в “Матросскую тишину”? А на пьедестал вознесли тех троих, кто хотел сжечь водителей бронетранспортёра, шедшего в августе 1991 года к Белому Дому. Как-то мне попались на глаза вирши ангарского поэта Валерия Алексеева, где он постарался совместить в себе прорицателя и прокурора одновременно. С металлом в голосе он грозно восклицал:

*Наступит день, я твёрдо знаю,  
И суд им должное воздаст:  
Бакланов сгинет, и Янаев,  
И Стародубцев дуба даст.*

А вот и затаённое:

*Не избежать им меры высшей!..*

Ну, чем не тридцать седьмой год? Вот они, наследники тех, кто организовал ГУЛАг и уничтожал инакомыслящих.

Итог:

*На кладбище под небом синим  
Лежит, архангелом храним,  
Еврей, погибший за Россию,  
И двое русских рядом с ним.*

“Спасённый” этими “чудо-богатырями”, Ельцин вручил павшим героям посмертно высшую награду разрушенной им страны.

Истинное лицо реформаторов открылось буквально сразу же, из гонимых они превратились сначала в преследователей, а чуть позже – в мародёров и палачей. Поняли: отмашка дана, и церемониться не стоит. И началось.

Травить людей в России умеют. Пошли звонки, угрозы, анонимки. Показали театральный выход к народу сморкающегося в платочек Ельцина, который покаянно просил прощения, что не уберёт молодых людей. В девяносто третьем, расстреляв в Останкино и на улицах Москвы сотни молодых людей, он не проронил и слезинки. В октябре 1993 года счёт человеческим жертвам шёл уже на сотни после каждого удачного танкового выстрела по Белому дому. Среди убитых были русские и татары, украинцы, белорусы и евреи. А на набережной Москвы-реки раздавались аплодисменты, жаждающая зрелищ либеральная московская публика открывала бутылки с шампанским. Пиршество достигло апогея, когда из Белого дома начали выводить его защитников и милиционеров с закинутыми за голову руками. Нашлись и те, кто плевал им в лицо. Но это днём, а впереди ещё была ночь...

А после появились стихи Владимира Бушина:

*Я убит в Белом доме.  
Я стоял до конца.  
Я надеюсь, как должно  
Вы отпели бойца?*

*Дни летят, как шальные,  
То шурша, то звеня,  
Но прошу вас, родные,  
Не забудьте меня...*

Несомненно, настоящим офицером, оставшимся верным воинской присяге, был Игорь Остапенко – последний Герой Советского Союза, погибший в ночь на 3-е октября 1993 года в бою с омонотцами. У Ельцина же появились свои герои. В основном, те, кто стрелял в собственный народ.

Запомнилась наша последняя встреча с Виктором Петровичем Астафьевым во время съезда писателей, проходившего летом девяносто второго года уже не в Колонном зале Дома Союзов, как это бывало раньше, а в Театре киноактёра, в маленьком и тесном зале. Мы сидели в самом последнем ряду, на разошедшихся креслах, и он вдруг начал жаловаться и обвинять во всех грехах “красного” Пашенко. Я вдруг понял, что он хотел бы склонить меня на свою сторону.

– Виктор Петрович, а вы что, раньше не знали об этом? – стараясь говорить как можно мягче, прервал его я.

– Ты его ещё не знаешь, настоящего! – вспылал он.

– Значит, надо понять и простить, если он в чём-то согрешил, – сказал я. – Олег мне друг. И поскольку его здесь нет рядом с нами, то давайте закроем эту тему.

Астафьев зыркнул на меня глазом, встал и, не попрощавшись, боком-боком полез вдоль кресельного ряда к выходу. В тот момент мне почему-то вспомнилось, как он уходил из президиума съезда после выступления Троепольского. Тогда он шёл, высоко держа голову, здесь же – сутулясь и ни на кого не глядя, шаркал по полу плетёными штиблетами. И я понял: наши пути с ним разошлись. Навсегда...

Больше Астафьев на писательских съездах не появлялся. В то время я ещё не знал, что Виктор Петрович предложил красноярским писателям исключить Олега из писательской организации, говорил, что было его большой ошибкой дать рекомендацию Пашенко в Союз. И что бы вы думали? Исключили! Правда, через полтора года Олега восстановили в организации.

Незадолго до своего ухода Виктор Петрович признался, что, несмотря на все разногласия и ссоры, Олег был для него настоящим другом. Ну, что тут скажешь!

Сегодня мало кто уже помнит, как в конце восьмидесятых из большого Союза писателей со скандалом вышли те, кто образовал так называемый “Апрель”. И растаял этот “Апрель”, как залежалый снег на солнышке, будто и не было его вовсе. Но тогда они ещё драли глотки, утверждая своё право быть великими и незаменимыми, находились в постоянной войне с “агрессивно-послушным большинством”, потому как именно они самые что ни на есть русские писатели.



Работа Астафьева над романом “Прокляты и убиты” началась, когда обрушились страна и советская власть. Из повелителей и властелинов коммунисты попали в гонимые. Помню, самым главным в то время стал вопрос: где и с кем ты был в августе 1991-го? Ты за Ельцина или за ГКЧП? В этот момент Виктор Петрович окончательно рвёт с теми, кто долгие годы был рядом с ним и кто не собиравшись прилаживаться, бежать, *задрать штаны*, за Ельциным и за теми, кто вёл его. Путь от почитания генерала-фельдмаршала Эриха фон Манштейна до деревенского, детдомовского обожания циничного и расчётливого Ельцина Астафьев проделал стремительно и не без корысти. И после, как бы оправдывая своего благодетеля, начал утверждать, что Ельцин стал жертвой бездарности русского народа. . . Спустя некоторое время меня не раз посещала одна странная мысль, и каждый раз я отмахивался от неё. Наблюдая издали, а потом и вблизи за всенародноизбранным, Виктор Петрович похотел стать царём литературным, а вот его благодетель, став царем российским, в душе мечтал, все-то-то лишь, быть капельмейстером немецкого военного оркестра. . .

Примеряться к новой и, возможно, главной для себя работе Астафьев начал раньше, но происшедшие события, безусловно, его подтолкнули. И здесь Пашенко стал для него бельмом на глазу. В “Красноярской газете” Олег опубликовал статью “Все покроется любовью”. Наивный и опасный посыл. Вряд ли любовь могла уместиться в скользком и расчётливом сердце соратника Астафьева Романа Солнцева или в ещё более расчётливом и таком же скользком сердце бывшей подружки Олега – журналистки Ирины Лусниковой, которая, *задрать юбку*, в августе девяносто первого года, после ареста гэкачепистов, полезла на здание красноярского крайкома срывать красное знамя Победы.

Один из главных постулатов Православия – “Бог есть Любовь”. Но знать об этом – ещё не значит исполнять. Это понимание требует ежедневной и ежеминутной работы, когда нужно подниматься над своими страстями, останавливать себя, терпеть испытания, умирять в себе гордыню. А не карабкаться по чердакам, чтобы сдирать флаги. С Богом в душе этого не сделаешь.

В новой работе Астафьеву понадобился сильный образ. И он его нашел – *чертова яма*. Но в яму, как известно, не поднимаются, а падают. На том непростом и для страны, и для писателя изломе любовь Астафьеву мешала. Да, в “Пастухе и пастушке”, в “Последнем поклоне” всё было пронизано этим чувством. Но для такой работы, как “Прокляты и убиты”, любовь была не нужна, её надо было утопить в этой самой яме.

А вот письмо Евгения Ивановича Носова Виктору Петровичу Астафьеву после прочтения романа “Прокляты и убиты”: “Ну, прежде всего, категорически возражаю против оголтелой матерщины, – пишет Носов. – Это говорит вовсе не о твоей смелости, новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, какие у него потроха. . .

. . . Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся ещё и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым ударом по чему-то сокровенному, до сих пор оберегаемому. Убери эти чугунные словеса – а правда всё равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет. Разве матерщина – правда жизни? И ещё горше, когда книга, уже напечатанная, одетая в благообразный переплёт, будет стоять на полке. Мы уже уйдём в мир иной, а она будет стоять со своей скверной, обжигая душу будущих читателей не сколько правдой, которая к тому времени может померкнуть, сколько дурнотой словесной порнографии. . .”

Далее Носов делает подробный разбор текста, указывая своему собрату не только по перу, но и по фронтовым дорогам ошибки, несуразности, которые есть почти на каждой странице.

“На стр. 29 попалась такая фраза: “Ботинки насунуты до половины ноги”. Надо до половины стопы. Стр. 156: “...наголову взошедший лоб”. Ну, конечно, нелепича. Ведь лоб – часть головы. И как часть головы может взойти на голову? Ты заглядываешь в окно с улицы в проделанную дырку. Проделать с улицы дырку невозможно, так как стекло обмерзает изнутри. Размышления о хлебе. “Не создавший хлеба не имеет права прикасаться к нему, ибо он дармоед”. Ткач и кузнец хлеб не выращивают. Человечество не сдвинулось

бы с места, если бы все только сеяли хлеб. Есть распределение труда. В Исландии вообще не сеют хлеб, нет условий. Между тем, это один из трудолюбивейших народов. Возможно ли назвать этот народ дармоедом?

... А теперь, Витя, давай займёмся полковыми харчами. Я был совершенно изумлён, когда прочитал, как роскошно кормили в разгар Сталинградской битвы в 21-м полку. Рыба с Дальнего Востока, крупы, сухари, соль, сахар — от всего этого ломились просторные дощатые склады полка. Вручную выпекались хлебные ковриги. Хлеб с салом, котлеты со сливочным маслом. Право, в нынешнем Переделкине кормят хуже. И был изумлён, что через полтора месяца такой жратвы, Коля Рындин совсем дошёл до голодухи. Ведь сам автор не без гордости за свой полк утверждает: “Всё это в нормальное время ни одному парню было бы не съесть”. Тогда с чего начали отбрасывать копыта? Ты прозрачно намекаешь, что дело не в харчах, а в изнурительной муштре. Да не сидеть же днями на нарах. Я был бы счастлив хоть единожды походить строем, поорать песни. А как же в американской армии: там каждый солдат должен уметь отжаться сто раз! Наш солдат и теперь на такое не способен. Вот ты пишешь, что в полку появились дистрофичные, опустившиеся солдаты. Бродившие возле кухни, рывшиеся по помойкам, облизывающие чужие миски дистрофики. И тут же рядом (стр. 260), когда эти самые дистрофики добирались до деревенских девок, то от тех только перья летели. То есть автор свидетельствует: солдаты время даром не теряли. “Мяли девок на ворохах хлеба. Залезая рукой в места сугревные...” Ты, Витя, пошёл ва-банк! И у тебя солдаты вымирают целыми землянками, и трупы не убирают днями. Но остаётся вопрос: что они, в этих землянках, умирали все сразу? Но остальные — то пока оставались живы. И что, не было проверок, построений, утренних и вечерних? Спросит командир: “А куда девался Иванов, Петров, Сидоров?” Никто тебе, Витя, не поверит, особенно фронтовики. Такого не было даже в блокадном Ленинграде. Это ведь опять твоя психическая атака на читателя во что бы то ни стало повергнуть и ошеломить”.

Читая письмо Евгения Ивановича Носова, я вспомнил, как редактор отдела прозы издательства “Молодая гвардия” Зоя Николаевна Яхонтова, смеясь, признавалась, что, когда к ним в редакцию поступала рукопись Виктора Петровича, то печатать её в изначальном виде было невозможно.

— Я редактировала сама, затем поручала Агнесе Фёдоровне Гремицкой, и мы доводили рукопись до ума.

Не стало страны, ушла Зоя Николаевна, и оказалось, что править рукопись так, как это было раньше, некому. Я вспомнил, как Валентин Распутин вносил свою правку в уже набранный текст: он заказывал переговоры с московской редакторшей и часами диктовал правленные фразы. Тогда ещё не было мобильной связи, и платить за такие переговоры приходилось немалые деньги.

Возможно, причина неряшливости текста Астафьева в том, что он уже и сам уверовал: он почти Лев Толстой, только со своим детдомовским словом и особым, только ему подвластным виденьем мира. А на читательский суд можно начинать, мол, сойдёт и так!

Перечислять несуразности, которые Носов по-дружески, но по гамбургскому счёту всё же высказал своему другу, не имеет смысла. Уже в конце своего письма Носов просит у Астафьева прощения. Евгению Ивановичу жалко, что из сшитого сапога во все стороны торчат незаколоченные гвозди. Жалко своего завравшегося друга.

Читал я это письмо Носова и вспоминал правки и замечания, которые получал сам — начинающий писатель, давая читать свою рукопись Распутину, Шугаеву, Машкину, Суворову... И делал для себя выводы, учился писать, чтобы в дальнейшем не наступать уже на одни и те же грабли. А здесь, чуть ли не финальный, подводящий итог творческой жизни роман... Возможно, именно об этом хотел поговорить со мной мой земляк из города Черемхово, писатель и фронтовик Степан Васильевич Карнаухов.

“Прокляты и убиты” были убиты дважды, сначала в реальности, затем убиты уже печатным словом. Тот, кто любит крепкое слово, может возразить: “Извините, Виктор Петрович пажеских корпусов не заканчивал! Его университетами была сама жизнь”. Но Господь дал ему много. Возможно больше, чем многим. И по его же словам, когда он напугивал Сукачёва, “кому много дано, с того и спрос особый”. И какой же сегодня спрос с Астафьева? Может

быть, надо сподорить с самих себя? Потому что он рос и возвышался, в том числе, и благодаря нам. Нет мне ответа...

Могу добавить, что Виктор Петрович был человеком вспыльчивым, и от него доставалось не только мне или Пашенко, но и обласканному на иркутском семинаре Вячеславу Сукачёву, Толе Буйлову, который, поколесив по стране, переехал жить в Красноярск, чтобы быть поближе к классику. Думаю, правы те, кто не одобрял таких попыток, справедливо полагая, что под большой, мощной кроной ничего не растёт. А насчёт матерков, так в его исполнении они звучали беззлобно, чаще всего, для того, чтобы поразить слушателя.

Вот как, например, описывает Тамара Григорьевна Бусаргина – жена иркутского писателя Глеба Пакулова – приезд писателей к ним на Байкал. “...В 1975 году, приехав к нам в Мельничью падь, писательская братия расположилась в домике Глеба Пакулова и по вечерам крепко выпивала, а утром не знала, куда себя деть от похмелья... И тут в доме появилась работавшая в то время на телевидении Нэлли Матханова. Виктор Петрович говорит:

- Чё стоишь, помогай Глебу уху варить.
- Он и сам справится.
- Да хоть картошки ему почисть.
- Ну нет, я недавно маникюр сделала.
- Ну, тогда ложись рядом.

Это мог сказать, конечно же, только Астафьев.

Виктор Петрович читал кое-что из своих “Затесей”, которые писал всю жизнь, смешно рассказывал о ежегодных посиделках с фронтовиками в коридорах медкомиссий, где очень серьёзно проверяли друг друга на предмет, не отросли ли у кого руки-ноги и не прозрел ли у кого стеклянный глаз за прошедший год. Всяким вспоминается Астафьев. Этот человек получил от Господа Бога столько даров, что хватало бы и на десятерых, – блестящий рассказчик, потрясающий певец (я, любительница поспать, просыпалась рано, выходила на крыльцо слушать его пение с лодки, когда поутру у Шаман-камня они рыбачили с Глебом). У него был, насколько я могу судить, баритональный тенор, но, главное, пел он “с душой”. К русской песне он относился трепетно. Помню, на веранде, где мы, в основном, и сумерничали, иногда и под водочку, запели про Стеньку Разина, и кто-то из гостей (а их было много, всем был интересен Астафьев), войдя, что называется, в “раж”, решил доставить удовольствие любителю крепкого слова Астафьеву, переиначил слова песни: вместо “не видала ты подарка” пропел – “ни . . . ты не видала от донского казака”. Надо было в тот момент видеть Астафьева. Фольклор непечатный он употреблял, невзирая на лица, и звучал он как-то беззлобно и без выпячивания, так, вставные словечки.

Рассказывал, как однажды в Праге в их союзе писателей разговорились о белочехах. Чехи утверждали, что они сделали много чего хорошего, и сибиряки должны их добром помянуть. “Да поминают, ё... , и песню сложили – на нас напали злые чехи, ё... , село родное подожгли, ё... твою”.

Читая воспоминания Тамары Григорьевны Бусаргиной, я поражаюсь её памяти. Она вспоминает один из неприятных моментов, который произошёл после поездки на лодке к Шаман-камню, что находится на самой быстрине, в том месте, где Ангара начинает свой бег к Енисею. Тамара вспоминает тот случай с обидой и чисто по-женски считает несправедливым обвинение Астафьева её мужу. И в качестве правоты своих слов приводит письмо Астафьева к Леониду Бородину от февраля 2000 года, где он описывает случай к тому времени уже двадцатипятилетней давности.

“...А на пути в Вампиловский(!) дом пробовал меня утопить погубитель Саши Глеб Пакулов. Это мы на лодочке вышли на волнорез, и Пакулов запаниковал. Ожидал, что на выходе волна меньше. Фронтовик, опытом богатый (В. П. служил на флоте? – Т. Г.), я показал ему кулак. И начал указывать рукою, чтобы он не пёр дуром на волнорез, а помаленьку, полегоньку сваливал с волны на волну и к берегу спокойно рулил. Когда подвалили к берегу, он был бледен и мокр от напряжённости, я ему внятно сказал: “Тебе что, твою мать, Вампилова мало?”

Действительно, при выходе на Ангару из Байкала их встретила крутая волна, но не настолько, чтобы повернуть назад, как того хотел Астафьев. Лодка вошла в Ангару, Глеб сбавил скорости и, как обычно в такой ситуации, решил идти, “сидя на волне” (Глеб это хорошо умеет – не раз на Байкале попадали

в штерки). Так и стали продвигаться к дому. Глеб не ожидал, что Байкал так панически может подействовать на фронтовика. Астафьев стал выхватывать у него руль, орать, материться, но руль Глеб не выпускал. Причалили к берегу, и Глеб ему прокричал: “Какого х... ты руль хватал – хватит с меня Вампилова”. Глеб корил себя всю жизнь, что за рулём в тот злосчастный вечер сидел Вампилов...” “... К слову сказать, в такую же, если не более опасную, ситуацию попал с Глебом Владимир Крупин, – вспоминает Тамара Григорьевна. – Ониплыли из порта Байкал в Листвянку и напоролись на “низовку”, которая налетает неожиданно и вмиг поднимает волны-горы. Такой стихии Крупин, да и Глеб, не ждали. “Неслись на маленькой лодчонке по глубоким ущельям между волнами”, – как вспоминал позднее Крупин. А тогда он молча молился. Долго ветер таскал их вдоль берега, наконец, удалось выскочить на него. Выйдя на берег, спросил Глеба: “Ты крещёный? – Собираюсь”. Отыскали глазами церковь в Николе, нашли всё понимающего батюшку, и Крупин приобрёл себе крестника”.

Говорят, что в нашем мире всё течёт и всё меняется. Менялся и Виктор Петрович. Но при этом, бывало, заносило его, и то, что его выделяло из всей пишущей братии, становилось предметом обсуждения, а порой непонимания всей читающей России.

– О своём же народе мне говорить больно, потому что это народ, как недавно в “ЛГ” сказал мой друг Валентин Курбатов, – народ с дремлющим разумом, – говорил Виктор Петрович в интервью Олегу Пашенко, напечатанном в “Красноярской газете” в 1988 году. – А что может дремлющий разум? Даже те семь процентов разума, которые, как полагают, действуют в человеке, включены у нас, русских, на 1,5–2 оборота, так сказать. Народ наш не хочет думать. Почти не способен сейчас на какую-то последовательную мысль. Да ему, знаете, легче быть рабом. И вот он хватается почитать идолов и вождей... Простите, о каком возрождении говорить, если вот есть капелька культурных людей в стране, и они всех раздражают, как соринка, как бревно в глазу. Их готовы сожрать, смешать с грязью. Свои гауляйтеры, выращенные здесь, готовы расправиться со всеми, кто не так думает, как они, а они не способны думать и не научены, они сами подчиняются тем, кто выше их. Вот он, этот самый наш так называемый патриотизм и так называемый шовинизм. Нет у нас ни того, ни другого. Просто есть люди, которые искренне болеют целеустремленными национальными чувствами. Вот их-то на всякий случай обвиняют в национализме, в шовинизме. Какой там шовинизм, Господи, помилуй. Вот вы сейчас опросите глубинную Россию, что такое “шовинист”, и люди в глубинке подумают, что это “говночист”. Они даже не знают значения этого слова. Что там... Дремлющий разум. При общей вроде грамотности оказались поверхностным, малокультурным, издёргавшимся народом. “Кто не с нами, тот против нас!”

Какая это нация, какой народ? Грузины же есть очень добрые и наивные. Они где-то дети немножко. И вправду, прошло какое-то время, прислали мне хорошее письмо. Пишут, что издали в Грузии “Печальный детектив” и гонорар хотели по высшей ставке оплатить, и что книга стала быстро бестселлером. Пишут, что решили повторить в издании с другими произведениями. Это то, что я предполагал: незлобивые, отойдут”.

Далее Пашенко спрашивает:

“– Беда в том, что вопрос о евреях в литературе и в жизни сейчас повсеместно из разряда как бы запретных. Мы, вошедшие в литературу десяток лет назад, как фантастику воспринимаем, что когда-то русский Куприн писал рассказ “Жидовка”, русский Чириков писал пьесу “Евреи”, а русский Бунин запросто писал, например, как снег в Одессе “больно сечёт в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево”, не говоря уже о бессмертном Гоголе, который в “Тарасе Бульбе” “изничтожал” жидков за их торгашескую продажную сущность, которую они тогда сами-то не особо оспаривали. Писали о евреях Достоевский, Салтыков-Щедрин, Чехов... Это “расист” Шекспир, к примеру, мог позволить в своей пьесе, чтобы невинную женщину удушил взбесившийся чернокожий мужчина.

– Э-э, да если бы у Шекспира душил несчастную Дездемону пьяный и небритый русский мужик, то иные русские даже, глядишь, этим бы ещё

и погордились: “Знай наших, паря!”. ” Конечно, я думаю, что все мы хороши...”

Конечно же, не без умысла в своём письме Астафьеву Натан Эйдельман привёл любимое Львом Николаевичем Толстым изречение Герцена, выдав его за главный закон российской словесности и российской мысли. “... Закон, завещанный величайшими мастерами, состоит в том, чтобы, размышляя о плохом, ужасном, прежде всего, до сторонних объяснений, винить себя, брать на себя, помнить, что нельзя освободить народ внешне более, чем он свободен изнутри”.

Эйдельману Астафьев всё же “влепил”, но перечить одновременно Толстому и Герцену не решился и скорректировал свою позицию, всё перевёл на безропотный с дремлющим разумом народ. Тем самым невольно подыграл тем, кто при удобном случае не откажет себе в удовольствии сказать: “Ну, не повезло России с народом! Да не народ вовсе, а народец!..”

Зачем же выказывать свои неудовольствия и обиды тем, кто тебя кормит и поит? Мы всегда были и будем перед ними в долгу. Думать, высказывать свои мысли народ доверил писателям. Зачем же ругать народ за неумение думать и складно говорить?

Да, тебя, подзаборника, пинали валенками мужики в Игарке за украденную булку хлеба. И вот много лет спустя, уже признанный и великий, ты решил: “А вот я вам сейчас скажу, кто вы есть на самом деле! И сделаю это, не таясь, через газету, телевизор или книгу”. Чем-то мне это напомнило соседского хулигана, который дразнил и оскорблял прохожих через форточку, зная, что ничего ему за это не будет.

Олег Пашенко рассказывал, что в последние годы Виктора Петровича было жалко до слёз. В мастерской художника Валерия Кудрявского он, глядя на улицу, жаловался, что одинок и никому не нужен. И плакал. Поистёрся, поистаскался на званных приёмах всенародный кумир, остался старый, но всё ещё kloкочущий злобой, больной, уже и себе не нужный человек. И правда его, густо сдобренная матерщиной, опротивела. Стала иметь ту же цену, как затасканная старая тряпка. Но что-то изменить было невозможно, поскольку в литературе обратной дороги не бывает. Как иногда говорят, “что написано пером, того не вырубишь топором”, даже если бы очень захотелось. Многое ему прощалось. Слишком много! Но не всё! В итоге жизнь всё расставила по своим местам. Как было написано на кольце царя Соломона: “Всё проходит. И это тоже пройдёт”.

В начале жизни, бывало, его пинали, в конце жизни от него отвернулись. И в детстве, и в старости были слёзы. И неизвестно, какие из них горше.

Когда я прилетал в Красноярск, то старался непременно побывать у Виктора Петровича в Академгородке. Как-то однажды за кухонным столом он стал спрашивать об иркутском житье-бытье. И незаметно разговор зашёл о Распутине, о вручении ему звезды Героя. Астафьев вспомнил, что Исаковский имел звезду, а вот Твардовский так и не дождался. И я подумал: “Петрович переживает, что Распутин обошёл его, и оттого ему плохо”. Писатели — народ чувствительный и ревнивый. А поле славы — оно такое небольшое, крохотное. Уж они-то, ступив на него, отслеживали, на какую полку поставила их власть, отслеживали строго, почти под микроскопом.

...А вот переписка Валентина Распутина с Олегом Пашенко, которую мне передал Олег, узнав, что я начал писать воспоминания о Викторе Петровиче Астафьеве. Там есть интересные строки, которые приоткрывают завесу взаимоотношений этих, без сомнения, великих писателей. “Нет, не отменяется, не отменится никогда тяжкая служба русского художника: “виждь и внемли”, — Валентин Распутин сказал так в 1989 году, предчувствуя недоброе в стране. От себя добавлю: лекарство, как правило, бывает горьким, сладким — только молоко матери. Хочешь обвинить — аргументы найдутся, хочешь похвалить, подсластить — есть опасение наградить человека “сахарным диабетом”.

Москва,  
10.02.1998.

“Дорогой Олег!

Поздравляю также с депутатством. Окольными путями дошли слухи, что ты победил даже и в Овсянке. Вероятно, под влиянием этого В. П. дал “Из-

вестиям” интервью под названием “Я буду последним, кто разуверится в человеке”, где он даже и Чубайса журит.

Сегодня вот хоронят Николая Старшинова, а я проводить этого святого человека не могу. В последнее время проводили многих, в том числе Г. В. Свиридова, Ю. С. Мелентьева, но всё больше люди безвестные, ставшие родными. Хоронил в Иркутске, вернулся в Москву — здесь похороны. Время похорон, мой последний “переходный” возраст совпал с разрухой — и живых моих лет узнать нельзя, настолько все постарели. Как только принимаются разрушать землю, разрушается и всё, на ней живущее.

Спасибо тебе за присланные газеты. Хоть и давно это было, но спасибо не сказано. И ты хорошо сделал, что напечатал Валеру Хайрюзова, повесть, там вся история разрезанного на части (и давно) славянского народа в Югославии. И эту часть Валера сделал хорошо, но ради этого, я думаю, и затевалась вся работа.

Время, в конце концов, работает на нас, и, если уж В. П. стал разговаривать языком твоей газеты, делая лишь собственные дикие обобщения, вроде того, что, чтобы не было таких проходимцев, как Чубайс, надо не допустить к власти коммунистов, — но если уж он заговорил, пусть только в преамбуле, по-иному, это уже кое-что значит.

... О том, что происходит вокруг, и говорить не хочется. Трижды обманувшим вера быть не может, но трижды обманувшись и себе веры быть не может.

Твой  
В. Распутин”

27.07.98,  
Иркутск

“Дорогой Олег!

... Покаянный шаг Толи Буйлова меня удивил.

Ваши письма я получил в один день — его и твоё. Толя прислал большое письмо с рассказом о том, как он ездил к Астафьеву и как произошло примирение. Против примирения сказать нечего, дело это христианское, и Толя, я думаю, снял со своей души немалый груз. Он, этот груз, есть и у меня, но не отдельным большим местом, а малой частью в огромном бульжнике, назревшем за наше российское светопреставление. Толя и меня призывает придти к Астафьеву, а для этого приехать в сентябре на овсянковские чтения. Но я с Астафьевым не ссорился. Он со мной, кажется, тоже. Он даже не отказывал мне никогда в некотором писательском даре. Наши отношения не личные. И личным братанием их не снять. Я мог бы, скрепя сердце, и обняться с Астафьевым, как сделал это, кажется в декабре 91-го во время булатовского писательского съезда, но через неделю-две мне снова пришлось бы писать ему своё несогласие в том, что <он> принимает и яро утверждает как народный язык и народную нравственность в литературе. Не считая главного — его отношения к истории на протяжении 75 лет, в которых он жил, родившись в России. Астафьева уже не переделать, меня тоже. Я думаю, что ему и мне будет легче, если мы останемся каждый при себе. Я плохой христианин. Вполне возможно, что в скором времени мы окажемся отнюдь не в раю рядом с Астафьевым, но и там будут спрашивать за разное.

В. Распутин”

“Дорогой Олег!

Ты знаешь, конечно, что в июле я был в Красноярске. Увидеться с тобой не удалось: подхватили по белы ручки, сочинили программу, и только я себя и видел! Ночь ночевали мы с Г. Сапроновым у Марьи Семёновны, ночь — где-то на базе педуниверситета у Дроздова и на третью ночь улетели. Зато Овсянка в полном объёме, встреча в Дивногорске, бегом по владениям Толи Буйлова, в Красноярске — литмузей, встреча в педуниверситете, после которой в кабинете собрались те из писателей, кого я помню и знаю, и неловкий разговор по той именно причине, что меня привезли “полизать”.

Ну, а изба бабушки — это уж ни в какие ворота, ни в астафьевские, ни в здравомысленные, это то ли на американский лад, то ли на тунгусский. А женщинам — хранительницам этого “творения”, родственницам В. П. — нравится, нравится любоваться в основном фигурами.

Ну, это их дело, дело их вкуса, и не только их. Миллион долларов куда-то потратить надо. А музейного Астафьева уже и сейчас много. Торопливость такая, будто опасаются, чтобы никто не занял его место. А ведь впереди ещё квартира под музей, в Чусовом – тоже музей. В наше малочитающее и ещё менее почитающее литературные имена (даже самые крупные) время это может сыграть злую шутку.

Вообще в Астафьевых как-то невольно проявляется сходство с Толстыми: то же бунтарство, та же переписка по нескольку раз (его) рукописей, тот же намёк на родовую мемориальную усадьбу, та же способность говорить обо всём, та же озабоченность славой. Только Толстой ссорился с царями, а Астафьев принимал их у себя и при жизни, и после смерти.

В. Распутин.  
24.02.2005,  
Москва”.

“Дорогой Олег!

Да нет, из толпы-то В. П. вышел с удовольствием, но умел держать с ней себя по-свойски без всякого наигрыша (у пьяного бывало). Но одновременно умел себя держать и на олимпиах, без всякого напряжения и подлаживания, перемежая смешочки и серьёзные вещи. А бабочка, а фрак в день получения “триумфа”? Это выглядело, верно, так же, как красные сапожки на Д. Балашове, но ведь фрак, а не рубаха с пояском. Вверх смотрел, а не вниз, и почитал себя очень высоко, даже когда и хохмил, и кривлялся...

Но это к слову, если копаться.

Ты сказал очень точно: “замахнулся на “Войну и мир”, а вылезли “Прокляты и убиты”. И без завешания тут уже было не обойтись.

Есть и ещё одно обстоятельство, от которого не отмахнуться. Это 60-летие Победы. И тут уж отмалчиваться не годится, между Астафьевым и Победой выбора быть не может. А там уж как Бог положит, с “Проклятыми и убитыми” я никогда не соглашусь...

Твой В. Распутин.

П. С. В Красноярске я насчитал вместе с музеями-библиотеками в Овсянке и Дивногорске, вместе с будущим музеем-квартирой шесть музеев в честь В. П.; за заслуги перед литературой хватило бы двух. Остальные – за заслуги перед Ельциным. А ещё – музей в Перми, а ещё – на Урале. У Е. И. Носова нет ни одного, только экспозиция. Музеи у Абрамова – его дом в Верколе, и всё. А ведь читать нас будут всё меньше и меньше. И медвежья услуга, оказанная впопыхах В. П., не может не обернуться потом обидным запустением, подумали бы!

У Леонова и вовсе нет ни единого музея. Ю. Казакову много лет не можем добиться мемориальной доски на Арбате. Но я, кажется, об этом тебе уже говорил.

Будь здоров, Олег!

В. Распутин”.

Спустя много лет я начинаю понимать, что выбор мишени для Астафьева не был случайным. Своих – впрочем, я не уверен, что мы были для него своими, – он видел хворостом, который при случае можно бросить в топку. И вот такой случай представился. А ведь на высоту поднимали его, в том числе, и мы, когда, сидя у тёплой печки в Добролёте, с почтением внимали его рассказам и размышлениям.

Потом он со всех экранов начал ругаться и кричать, что руководители страны были сплошь негодяями, маршалы и генералы – бездарями, да и вообще у нас не народ – народец. Недаром говорят, что “доброе слово в тенёчке лежит, а злобное, как пёс, по дороге с лаем бежит”. Спрос на злобу всегда найдётся. “Он же детдомовец, шпана, а в их среде жестокости много, – как бы оправдывая его, говорил Распутин. – Они слабого, как правило, добивают. Как только советская власть почил в бозе, Астафьев, обидевшийся на неё за то, что она ему больше ничего дать не может, бросился добивать её по законам детдомовской стаи...”

Что ж, обвиняя народ в грехе и непотребстве, легко самому власть в грех и непотребство. Некоторые утверждают, что Астафьева можно назвать чело-

веком – стихией. Он, не стесняя себя и не выбирая слов, начал судить и охватывать всё и вся, стал ломать и сметать где тонко, где тоньше всего. Но и у стихии есть свой предел, она не может вырасти до таких размеров, как человеческая гордыня. И, в итоге, эта духовная “болезнь” стала для него услужливой тёткой, шаг за шагом он вступил в противоречие со многими иначе видящим мир людьми и даже, как бы призвав и приладив себе в союзники Спасителя, сам того не замечая, вступил с ним в противоречие, подменяя и попирая его основной посыл: Не суди и судим не будешь!

\* \* \*

Оглядываясь в прошлое, сегодня мне больше всего помнится то далёкое июньское лето 1975 года, когда они, вчерашние солдаты–победители – Виктор Астафьев, Евгений Носов, Юлия Друнина, вместе с нашим писателем-фронтовиками – лётчиком Владимиром Козловским, Алексеем Зверевым, Львом Кукуевым, Дмитрием и Марком Сергеевыми, шли по белым от первоцвета иркутским улицам. Наверное, вот так же, как и в сорок пятом, пахло черёмухой и яблоневым цветом, а за спиной уже вдалеке осталась, отгромыхла война, ранения, окопы, теплушки...

Они шли по улице веселые, крепкие, с той правдой, которую несли нам, послевоенному поколению, тем, кому ещё предстояло понять и осознать, в какой стране нам вместе предстояло жить дальше. Впереди у них ещё оставалось время, чтобы успеть рассказать и о войне, о тех, кто не дожил до наших дней.

За всё, что они сделали и сказали, как могли, как умели, за всё это всем фронтовикам низкий поклон...